



Н. М. МИНСКИЙ

Единственный светоч*

В нашей философской литературе Шестов занимает своеобразное амплуа философа, отрицающего философию. По нынешним временам, когда живописцы отрицают рисунок и перспективу, композиторы — мелодию, поэты — размер и рифму, почему бы не существовать философу, отрицающему разум? В сущности, все прославленные философы за последние сто лет только то и делали, что отрицали примат разума — Шопенгауэр во имя воли, Гартман — во имя бессознательного, Ницше — во имя инстинкта, Бергсон — во имя интуиции, американские прагматисты — во имя религиозного опыта. Но, борясь с рационализмом во имя какого-то другого начала, каждый из этих философов создавал на месте прежней метафизики свою собственную систему. Шестов только отрицает и ничего не создает. Он с большим мужеством и, нужно прямо сказать, с большим талантом нападает на бедных философов, ловит Аристотеля на противоречии с Платоном, побивает Гегеля Спинозой, обижает, язвит, а сам остается неуязвимым. Ибо раньше чем предпринять свои набег, он вымазал себя волшебной мазью, объявив себя беспочвенным. С беспочвенника что возьмешь? Каким оружием проймешь его? Логикой? Но над логикой Шестов первый же измывается. Ведь Логос упоминается только один раз, в первом стихе четвертого Евангелия, а много ли это — один раз? Да и что такое Логос по существу, в своем двойном значении? Слово и разум, вернее, разум, выраженный в слове. А разум для Шестова и есть главный враг, которого он не устает бичевать и казнить. Сам-то он владеет словом в совершенстве и обладает разумом обоюдоотточенным. Но пользуется он этим разумом для того, чтобы побороть разум. Разумом разум пограл. Вы назовете такую деятельность внутренне противоречивой. Шестов ответит вам, что это и есть беспочвенность, и с улыбкой пройдет мимо.

В глазах Шестова разум провинился главным образом тем, что он идеалист. Разум создает идеи, общие понятия, нечто призрачное, неживое. В сущности, разум боится смерти и, спасаясь от нее, прячется за общие понятия, которые как будто смерти неподвластны. «В самом деле, разве можно убить понятие о кролике?» Но в том-то и дело, что понятия нельзя умертвить не потому, что они бессмертны, а потому что они при самом своем возникновении безжизненны. Разум — отец

* Речь, произнесенная на докладе Л. Шестова «Тысяча и одна ночь».

мертворожденных младенцев, и философские системы — кладбища трупиков или, в лучшем случае, некрополи мумий. Все, что создано разумом — все нормы, законы, каноны, категории, все универсальное, аподиктическое, необходимо-закономерное, — кажется Шестову безразличным и неинтересным. Его влечет и волнует только частное, случайное, личное, свое собственное, индивидуально-неповторяемое, для себя живущее и для себя умирающее. Бунт Шестова, таким образом, направлен не только против разума метафизического, но и научного, и даже против матери всех наук — математики. Ибо числа сами по себе, не в приложении к реальным предметам опыта, — тоже общие понятия, и даже, по Канту, понятия, предшествующие опыту. Два кролика содержат в себе две жизни, но число два безжизненно, а дважды два уже какой-то *danse macabre*. И можно только удивляться, каким образом эти два мертвеца, соединившись, рожают третьего мертвеца — число четыре, и почему все эти мертвецы так хорошо себя чувствуют, и если не бессмертны, то во всяком случае переживут всех нас с Шестовым вместе.

Сознаюсь, я не совсем постигаю, чего, собственно, добивается Шестов, нападая на науку за ее обобщающие методы. Неужели, по его мнению, зоолог должен изучать строение каждого кролика в отдельности, а не кролика вообще? Но как бы мог врач, в случае нашей болезни, выправить наш частный случайный организм, если бы он раньше не составил себе общее понятие о нормальном, идеальном, нигде реально не существующем человеческом организме? И в морали, и в религиозном познании разум лишь указывает путь вообще, а уже каждому из нас предоставляется идти по этому пути так далеко, насколько хватит в нем силы воли и глубины чувства.

Не думаю, чтобы Шестов сделал большое открытие, доказав, что понятия безжизненны. Никто никогда не представлял себе понятия в виде живых существ, с ножками и щупальцами. Отвращение Шестова к отвлечениям я объясняю себе особой живучестью его натуры, тем, что этот беспочвенник слишком глубоко врос в почву бытия. Даже чувство зрения кажется Шестову несколько подозрительным: оно легко может перейти в умозрение и оторвать нас от почвы бытия в область безжизненных идей. Куда надежнее чувство осязания, обоняния, вкуса. Они ведут нас в самую гущу бытия, туда, где ножки, щупальца, челюсти не созерцают, а работают, нападают, поглощают, переваривают — словом, живут. И хочется спросить Шестова, почему при таком уклоне своей натуры он избрал специальностью философию, населенную тенями и призраками, а не посвятил себя наблюдениям за жизнью насекомых, птиц, рыб. Ведь в самом крохотном таракане и ничтожнейшем пескаре неизмеримо больше личного, случайного бытия, чем в умозрениях всех философов древности и наших дней вместе взятых.

Впрочем, на этот вопрос я бы сам мог дать удовлетворительный ответ. Шестова влечет не столько к философии, сколько к философам. Он с неослабным любопытством следит за тем, как жизнь и умозрения философов сплелись между собою. Относясь к их умозрениям с полным пренебрежением, Шестов с особым наслаждением прощупывает их худосочные тела. Вы не найдете у него изложения системы Спинозы. Он не скажет вам, что и почему он в этой системе принимает или отвергает. Но зато с большим мастерством вылеплен им образ великого пантеиста, отощавшего от интеллектуальной любви к Богу. Тут в философе Шестове мы узнаем Шестова литературного эссеиста — не решаюсь сказать критика. Критик анализирует творчество писателя, проводит связь между миром, созданным его фантазией, и эпохой, отмечает все, что в этом мире можно отыскать наиболее общего, типичного для целой категории людей или для человеческой души вообще. Верный себе, Шестов ко всему общему, типичному относится с пренебрежением. Мир, созданный фантазией писателя, выношенные им образы кажутся Шестову такими же идеальными безжизненностями, как и общие понятия философов. За образами, созданными писателем, он ищет самого писателя, и в мире его фантазии он с беспощадной прозорливостью подбирает все, что там скрыто наиболее личного, случайного, частного. Писатель рвется из затхлой темы своей личной жизни, старается в творчестве забыть ее, оправдать, освятить, преодолеть прошлое мечтою, случайное возможным. Но приходит Шестов и говорит: «Нет, постой! Полно любоваться с бельведера картинами мира вообще, полно разгуливать по залам, убраным бездушными картинами и статуями. Не угодно ли назад, туда, в подвал, к плесени и к мраку твоего бессилия, твоего позора, твоего безумия». Каждый критический очерк Шестова является актом тонкого мучительства и над разбираемым автором, и над читателем. Следишь за этой психической пыткой с чувством жути, боли, но также с глубоким интересом, ибо сознаешь, что, если Шестов отворачивается от цветов и плодов искусства и докапывается до корней, теряющихся во мраке и сырости, то он делает это в поисках правды, последней человеческой безотрадной правды. И в то же время, вчитываясь в Шестова, читатель невольно задает себе вопрос: каков же его собственный подвал? Из какой тьмы и плесени тянутся корни его безотрадного анализа? Не оттого ли он так упорно отрицает творчество в философии и искусстве, что он сам лишен творческого дара? Подобно тому как Шестов за идеями философов и образами художников ищет самого философа и художника, так за анализом и критикой Шестова хочется увидеть образ самого критика. И этот образ по мере знакомства с Шестовым действительно возникает в ярких и резких чертах. Становится очевидным, что имеешь дело с крупной силы скептиком, не веселым скептиком вроде Гейне или восторженным отрицателем вроде Ницше, носившего в груди

пляшущую звезду, от которой и сгорел; но со скептиком мрачным, согбенным под тяжестью многовекового опыта, с Агасфером в области мысли, с одиноким скитальцем, с вечным искателем, беспокойным, бесприютным, безземельным и оттого беспочвенным. Свой безрадостный опыт, вынесенный из далекого прошлого, Шестов умножил всем скепсисом современности, адогматизмом позитивистов, аморализмом Ницше («добро не есть Бог» — слова Шестова), анархическим бунтом Штирнера против всего общего во имя «Единственного»¹. И нагруженный всем этим скепсисом — своим и чужим — Шестов пришел проповедовать отречение от разума русскому интеллигенту в тот момент, когда интеллект и без того отлучен от России и томится в изгнании.

Таков образ скептика Шестова, который за его произведениями возникает в воображении читателя и во всяком случае всегда возникал в моем воображении, — образ, если не чарующий, то весьма внушительный, незаурядный и даже демонически соблазнительный. И вдруг этот образ растаял. Шестов напечатал статью: «Тысяча и одна ночь», в которой сам как будто показал нам свой подлинный лик — и что же? Вместо дерзновенного скептика перед нами предстал обыденный запуганный верующий. Так вот что означал поход против Аристотеля, Платона и Гегеля! Шестов открыл перед нами дверь своего святилища, и вместо таинственного грота Мерлина, как мы ожидали, мы попали в синагогу, к тем, кто вот уже две тысячи лет два раза в день взывает к Богу из бездны, докучает Богу своими воплями *ex profundis* унижений и гонений. Какое разочарование! Как могло произойти такое превращение? По законам ли атавизма в Шестове под наносным слоем высокой культуры проснулся вдруг ветхозаветный предок или же потребность молиться, взывать к Богу о заступничестве возникла в нем под влиянием пережитых ужасов, среди развалин, нагроможденных войной, революцией, междоусобной резней, погромами? Или же, наконец, быть может, вера Шестова — лишь одна из масок, которую этот беспочвенник надел на время, чтобы еще искуснее скрыть свое подлинное лицо и лишний раз посмеяться над нашей, почвенников, доверчивостью? Уж не поторопился ли Мережковский (во время прений после публичного чтения Шестовым своей статьи), поверив в религиозность Шестова и приравняв его к Иову, испепеленному болью? Какой Шестов Иов? И какой он испепеленный? Сам всякого испепелит.

Делать нечего, приходится и нам считаться с фактом и уверовать в нечто столь невероятное, как пламенная вера абсолютного скептика. Для меня всего непостижимее то, каким образом Шестов, столь дорожащий личным и случайным, мог попасть в такую избитую, веками изъезженную колею, как борьба с разумом во имя веры. Ведь та молитвенная вера, о которой говорится в его статье, не может не бороться с разумом, ибо вера эта основана на уверенности в том, что молитва действительна, что Бог, услышав ее, вмешается в порядок

явлений, изменит их закономерное течение в пользу молящегося, совершит чудо, а разум утверждает закономерность явлений. Впрочем, покуда философия оставалась догматической, вера еще могла бороться с разумом на равных правах, ибо утверждение, что явления происходят закономерно, — такой же недоказуемый догмат, как и догматы религии. Но дело изменилось, когда с критическим методом выступил Кант — второй титан человечества, если первым считать Прометея. Критический разум ничего не знает о том, как происходят явления, закономерно или произвольно, ибо вещь в себе нам неизвестна. Разум, исполнив древний завет эллинской мудрости, познал лишь себя самого. Для разума очевидно, что входить в соприкосновение с явлениями опыта — внешнего и внутреннего — он может только в условиях закономерности — в общих формах времени, пространства и причинности. Возможно ли чудо или нет, у нас все равно нет органа для восприятия чудесного, ибо это значило бы воспринять закономерно незаконное, а разум, по законам своей природы, извергает из себя все внутренне противоречивое.

Равным образом критический разум ничего не знает ни о бытии, ни о небытии Бога, но, изучая свой собственный механизм, находит, что наше человеческое «есть» и наше человеческое «нет» применимы только к куску случайного опыта в рамках необходимых категорий. Наше «есть» и наше «нет» могут относиться к идолу, к истукану, но не к Богу, который в опыте не открывается и не может быть втиснут в общие формы времени, пространства, причинности. Кто утверждает «Бог есть», тот говорит о невидимом идоле. Кто утверждает «Бога нет», тот свергает невидимого идола. Истинная божественность познается нами только мистически, как абсолютная противоположность нашего «есть» и нашего «нет», как извечная жертва, лежащая в основе бытия и небытия. Такая религия внутреннего откровения не нуждается в подпорках веры и не боится безверия.

Все это старые истины, общеизвестные, и я повторяю их не из желания спорить с Шестовым и не в надежде убедить его. Спор возможен там, где признаются права разума. Но там, где желание говорит так громко, что заглушает слова разума, доводы бесполезны. Мережковский, желая верить, вполне согласился с Шестовым и прямо заявил, что, если разум непримирим с верой, то «отречемся от человеческого разума во имя божественного безумия». Профессор Карташев в желании душевного благополучия шагнул еще дальше — по ту сторону разума и веры², и нам с того берега советует вообще не рассуждать, быть как дети, скромно намекая на то, что, кто сердцем чист, тот видит Бога. Н. В. Чайковский, желая, чтобы людские отношения покоились на христианской любви, заявляет: «Бог есть!»³ А беспочвенный Шестов, вдруг основавшийся на самой незыблемой почве — на камне веры, желая молиться, посадил разум в кутузку как убийцу жизни.

Нет, не жизнь убивает убийца-разум, а наши желания. Всякий из нас желал бы не стариться, не дряхлеть, не умереть. Но разум убеждает нас в неизбежности старости, дряхлости, смерти. И тогда мы свои разбитые желания перечеканиваем в веру, которая — не что иное, как наше последнее желание, чтобы жизнь оказалась божественной комедией с благополучным концом, с воскресением во плоти и встречей с теми, кого мы любили при жизни. Но разум и тут убеждает нас, что жизнь — божественная трагедия, отражение вечной жертвы. Кого слушаться? Ребенок, покуда в нем разум спит, так страстно желает, чтобы его деревянная лошадка была живая, что сам в нее впрягается и везет ее. Но наступает момент, когда ребенок, став подростком, понимает, что игрушка была не живой лошадью, а его желанием иметь лошадь — и расстается с ней. И вот, когда верующие говорят нам: будьте как дети — хочется в ответ им сказать: будьте если не как взрослые, то хоть как подростки!

Исторические религии — синагога и церковь, — защищая действенность молитвы, обращались с разумом еще жесточе, чем нынешние молитвенники. Синагога и церковь не только не слушались доводов разума, но не хотели слышать, затыкая ему рот, а себе уши, поступая в области религии, как ныне большевики в области экономики: во имя коллектива давя каждую личность в отдельности и этим умерщвляя самый коллектив. Научная школа социологов, в отличие от психологов, даже видит заслугу церкви в этом принудительном воздействии на личность. Вот Шестов, защищая случайную индивидуальность от тирании общих понятий разума, советует нам вернуться к случайным откровениям. Но кто, следуя его совету, вступит на этот путь, тот немедленно набредет на те же общие понятия разума, от которого никуда не спрячешься. Откройте Псалтырь на любом псалме, и вы натолкнетесь на общие рассуждения, на диалектику, на логику. «Предстанем пред лицо Его с благоговением, потому что... в Его руке глубины земли» и т. д. «Образумьтесь, бессмысленные люди. И вы, невежды, когда станете умнее? Создавший ухо ухом не слышит? Устроивший глаз ужели не смотрит?»⁴ Разве все это не доводы от разума, не философское онтологическое доказательство бытия Божия в лирической форме?

Что же касается религиозных культов, то они сплошь состоят из общих универсальных норм, не свободно принимаемых, как этого требует разум, а беспрекословно обязательных. В каком бы откровении вы ни искали убежище от обобщений разума, вашу личную веру тотчас же направят в русло всеобщего, для всех готового символа веры, вашу веру в Бога нагрузят верой в веру других живших до вас людей, обременят авторитетом писания, предания, соборов. Так что адогматический «этот» кролик сразу очутится в западне общих форм, которая, по его мнению, была расставлена для догматического кроли-

ка вообще. И если прав Шестов, утверждая, что современная Европа отвернулась от религии в сторону науки и техники, то это произошло потому, что личности стало не под силу носить цепи, налагаемые верой, и она возжаждала свободы, которую только обрела в разуме. Ибо только в разуме истина не приходит к нам из другого мира, как Саваоф на вершину Синая, вырождается на земле, возникает в каждой душе заново, как Христос в яслях вифлеемских. Или, по словам Сенеки: «Non sunt ad caelum elevandae manus... prope est a te Deus, tecum est, intus est» («Нет нужды простирать руки к небу. Бог близко от тебя, он с тобою, он в тебе»)⁵.

Но этот индивидуализм разума, эта, говоря марксистским жаргоном, мелкобуржуазная природа разума всего больше пугала синагогу и церковь. Синагога в борьбе с разумом дошла до виртуозности. Правверному еврею не подобало читать Библию, в особенности пророков, ибо пророки говорят не только религиозному императиву, но еще воображению, эстетическому чувству; не самому разуму, а чему-то с ним опасно смежному. Студент ешибота — еврейской духовной академии, — «пойманный» на чтении пророков, попал бы под подозрение, но он был бы исключен как «апикойрес» (эпикурец), если бы в его сундучке нашли «дикдук» — грамматику библейского же священного языка⁶, — ибо грамматика устанавливает законы языка, а законообразность — это уже прямое исчадие разума. Католическая церковь, хотя и чтит Аристотеля, но грозно ополчалась против разума всякий раз, когда он пытался раскрывать законы природы. Церковь была сильнее синагоги и действовала решительнее. Синагога отлучала философов, церковь их сжигала.

На примере Спинозы всего нагляднее видно, как поверхностен суд, который Шестов творит над философскими идеями. Интеллектуальная любовь к Богу, исповедуемая Спинозой, кажется Шестову безжизненной абстракцией, лишенной исторического бытия. Между тем пантеизм Спинозы — идея глубоко жизненная, полнокровная, насыщенная историческим содержанием. Для того чтобы понять внутренний смысл столкновения, произошедшего между синагогой и Спинозой, нужно помнить то особое положение, в котором еврейский народ находился перед человечеством в течение многих веков. Из всех религиозных заветов евангельский завет — единственный который проповедует абсолютную любовь и прощение зла. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Но в то же время евангельский завет единственный, который завещал вечную ненависть. «Кровь его на нас и на детях наших». Покуда глаза верующего подняты к распятому на кресте Богу, сердце его разрывается от любви, от жалости, от желания приобщиться страданиям того, кто принес себя в жертву за мир. Но, когда глаза верующего опускаются к подножию креста — туда, где стоит толпа, распявшая Бога, — сердце его преисполняется

такой же силы ненавистью и жаждой мщения. Христианская легенда питала верующего двумя сосцами — одним, полным молока любви, другим, полным желчи вражды. И еврейский народ, дважды принесший миру откровение Бога, оказался вечным обвиняемым в убийстве Бога, и каждый еврей при самом рождении становился участником в преступлении, для которого, казалось, никогда не настанет давность.

Синагога, радея только о собственном народе, продолжала молиться, убежденная, как теперь убежден Шестов, что судьба Израиля зависит от того, как громко он будет взывать к Богу, прося заступничества и чуда. А так как Спиноза отрицал действительность молитвы, то синагога отлучила его от своего лона. Но Спиноза, стремясь к истине, заботился не только о еврейском народе, а вообще о человеке. Провозгласив любовь к Богу чисто интеллектуальную, бескорыстную, безмолитвенную, беззлобную, он снял с еврейства обвинение в убийстве Бога и освободил человечество от завета ненависти. После Спинозы возможно стало видеть в жертве Христа символ иной интуитивно предугаданной жертвы, добровольной и извечной, а также возможно стало приравнять ослепление евреев, осудивших божественного человека Христа, с ослеплением афинян, осудивших божественного человека Сократа. Спиноза — предтеча третьего откровения, откровения разума, который своим светом пронизает и тучи Синая, и кровавый туман Голгофы, и примирит не только оба завета, но и тех, кто исповедовал их. К несчастью, свет разума коснулся только вершин, и еще далек день, когда он согреет доли и равнины.

При искании религиозной истины, может быть, вовсе не следовало бы ссылаться на исторические факты, но уже если делать подобные ссылки, то с величайшей осторожностью.

Шестов ссылается на современную историю. Нынешняя война, по его словам, послана Богом безбожной Европе в наказание за попытку достигнуть неба научным механическим путем, подобно творцам вавилонского столпа. Но нужно напомнить Шестову, что сама религия не раз была причиной кровопролитных войн и что христианнейшая Европа во имя веры истребляла не только неверных, но также инаковерующих — альбигойцев, гуситов, гугенотов. Да, говоря о последней войне, Шестов упустил одну деталь, именно то, что эта война была подготовлена и объявлена не маловерной Францией, а самым религиозным из европейских монархов, королем-пастором, который даже ссылался на услышанный свыше голос и во время военных действий не уставал взывать к «нашему немецкому Богу». Нигде кощунственный характер молитвы так ярко не проявляется, как во время войны, когда два народа, молясь одному Богу, просят каждый о даровании ему победы и о поражении врага.

В заключение скажу несколько слов об историческом завтрашнем дне. Ведь если религиозный вопрос приобрел теперь среди нас не-

которую остроту, то это потому, что многие надеются, что на почве воскресшей религиозности интеллигенция сумеет объединиться с народом против большевиков. Но мне плохо верится в то, что последний акт русской революции разыграется в ризнице. Россия в настоящее время одержима социальным безумием. Неужели одно безумие можно вылечить другим: социальное — божественным? Истинная причина переживаемой Россией трагедии заключается в том, что большевики, желая удержать в своих руках полноту власти, прогнали умственных работников и этим убили творчество. Потом они спохватились и стали зазывать спецов. Но никогда интеллигенты не вернутся в Россию в качестве ученых собак на привязи. Россия воскреснет только тогда, когда интеллигенция займет подобающее ей место, но быть интеллигентом — значит быть носителем интеллекта, хранителем разума. Строить можно только при уравновешенности мысли, а не в корчах эпилепсии. И если правда, что оставшиеся в Совдепии интеллигенты ищут утешения в молитве, то это повторение печальной еврейской судьбы лишь показывает, что одинаковые страдания ведут к одинаковому психическому гнету.

Среди тысячи одной ночи, окружающих жизнь на земле, нам дан лишь один-единственный светоч — разум, единый разум в трех формах деятельности: научной, философской и мистической.

Россия спасется разумом, а не молитвой.

С. В. ЛУРЬЕ

Два пути

(Философия идеи и философия переживания)

В общем строе русской духовной культуры философия занимает скромное место. При всей талантливости отдельных представителей русской философии, они не внесли в философскую сокровищницу человечества того вклада, который был бы достоин великого народа. Мы не можем назвать ни одного русского имени, которое символизировало бы этап философской мысли. То, что было сделано русскими философами, не выходит за пределы частичного углубления, а то и просто перепевов того, что давалось философским гением Запада. Восприимчивая, но не творческая мысль быстро и легко — иногда чрезмерно легко — схватывала системы западной философии; они получали распространение в сравнительно ограниченном кругу образованной публики, но, не связанные с корнями русской души, очевидно не отвечая на ее глубокие запросы, оставались тепличным